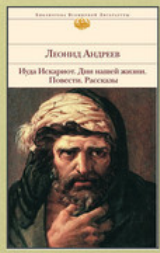
Леонид Андреев

Тьма



Часть сборника
Иуда Искариот. Дни нашей жизни. Повести. Рассказы

Леонид Николаевич Андреев
Тьма

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172424
Иуда Искариот : Дни нашей жизни ; Повести ; Рассказы :
Эксмо; Москва; 2012
ISBN 978-5-699-23490-5

Аннотация

«Обычно происходило так, что во всех его делах ему сопутствовала удача; но в эти три последние дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Как человек, вся недолгая жизнь которого была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, он знал эти внезапные перемены счастья и умел считаться с ними – ставкою в игре была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его к вниманию, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету…»

Содержание

I	4
II	8
III	21
IV	34
V	55
VI	77

Леонид Николаевич Андреев
Тьма

I

Обычно происходило так, что во всех его делах ему сопутствовала удача; но в эти три последние дня обстоятельства складывались крайне неблагоприятно, даже враждебно. Как человек, вся недолгая жизнь которого была похожа на огромную, опасную, страшно азартную игру, он знал эти внезапные перемены счастья и умел считаться с ними – ставкою в игре была сама жизнь, своя и чужая, и уже одно это приучило его к вниманию, быстрой сообразительности и холодному, твердому расчету.

Приходилось изворачиваться и теперь. Какая-то случайность, одна из тех маленьких случайностей, которых нельзя предусмотреть, навела на его следы полицию, и вот теперь, уже двое суток, за ним, известным террористом, бомбометателем, непрерывно охотились сыщики, настойчиво загоняя его в тесный замкнутый круг. Одна за другою были отрезаны от

него конспиративные квартиры, где он мог бы укрыться; оставались еще свободными некоторые улицы, бульвары и рестораны, но страшная усталость от двухсуточной бессонницы и крайней напряженности внимания представляла новую опасность: он мог заснуть где-нибудь на бульварной скамейке, или даже на извозчике, и самым нелепым образом, как пьяный, попасть в участок. Это было во вторник. В четверг же, через один только день, предстояло совершение очень крупного террористического акта. Подготовкою к убийству в течение продолжительного времени была занята вся их небольшая организация, и «честь» бросить последнюю решительную бомбу была предоставлена именно ему. Необходимо было продержаться во что бы то ни стало.

И вот тогда, октябрьским вечером, стоя на перекрестке двух людных улиц, он решил поехать в этот дом терпимости в – ном переулке. Он уже и раньше прибег бы к этому не совсем, впрочем, надежному средству, если бы не некоторое осложняющее обстоятельство: в свои двадцать шесть лет он был девственником, совсем не знал женщин как таковых и никогда не бывал в публичных домах. Когда-то в свое время ему пришлось выдержать тяжелую и трудную борьбу с бунтующей плотью, но постепенно воздержание перешло в привычку, и выработалось спокойное, совер-

шенно безразличное отношение к женщине. И теперь, поставленный в необходимость так близко столкнуться с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, быть может, увидеть ее голою – он предчувствовал целый ряд своеобразных и чрезвычайно неприятных неловкостей. В крайнем случае, если это окажется необходимым, он решил сойтись с проституткой, так как теперь, когда плоть уже давно не бунтовала и предстоял такой важный и огромный шаг, – девственность и борьба за нее теряли свою цену. Но во всяком случае это было неприятно, как бывает иногда неприятна какая-нибудь противная мелочь, через которую необходимо перейти. Однажды, при совершении важного террористического акта, при котором он находился в качестве запасного метальщика, он видел убитую лошадь с изорванным задом и выпавшими внутренностями; и эта грязная, отвратительная, ненужно-необходимая мелочь дала тогда ощущение в своем роде даже более неприятное, чем смерть товарища от брошенной бомбы. И насколько спокойно, бестрепетно и даже радостно представлял он себе четверг, когда и ему придется, вероятно, умереть, – настолько предстоявшая ночь с проституткой, с женщиной, которая занимается любовью как ремеслом, казалась ему нелепой, полной чего-то бестолкового, воплощением маленького, сумбурного, грязноватого

xaoca.

II

Но другого выбора не было. И он уже шатался от усталости.

Было еще совсем рано, когда он приехал, около десяти часов, но большая белая зала с золочеными стульями и зеркалами была готова к принятию гостей, и все огни горели. Возле фортепиано с поднятой крышкой сидел тапер, молодой, очень приличный человек в черном сюртуке, – дом был из дорогих, – курил, осторожно сбрасывая пепел с папиросы, чтобы не запачкать платье, и перебирал ноты; и в углу, ближнем к полутемной гостиной, на трех стульях подряд, сидели три девушки и о чем-то тихо разговаривали.

Когда он вошел с хозяйкой, две девушки встали, а третья осталась сидеть; и те, которые встали, были сильно декольтированы, а на сидевшей было глухое черное платье. И те две смотрели на него прямо, с равнодушным и усталым вызовом, а эта отвернулась, и профиль у нее был простой и спокойный, как у всякой порядочной девушки, которая задумалась. Это она, по-видимому, что-то рассказывала подругам, а те ее слушали, и теперь она продолжала думать о рассказанном, молча рассказывала дальше. И потому, что она молчала и думала, и потому, что она не

смотрела на него, и потому, что у нее только одной был вид порядочной женщины, – он выбрал ее. Он никогда раньше не бывал в домах терпимости и не знал, что в каждом хорошо поставленном доме есть одна, даже две такие женщины: одеты они бывают в черное, как монахини или молодые вдовы, лица у них бледные, без румян и даже строгие; и задача их – давать иллюзию порядочности тем, кто ее ищет. Но когда они уходят в спальню с мужчинами и там напиваются, они становятся как и все, иногда даже хуже: часто скандалят и колотят посуду, иногда пляшут, раздевшись голыми, и так голыми выскакивают в зал, а иногда даже бьют слишком назойливых мужчин. Это как раз те женщины, в которых влюбляются пьяные студенты и уговаривают начать новую, честную жизнь.

Но он этого не знал. И когда она поднялась нехотя и хмуро, с неудовольствием взглянула на него подведенными глазами и как-то особенно резко мелькнула бледным, матово-бледным лицом, – он еще раз подумал: «какая она порядочная, однако!» – и почувствовал облегчение. Но, продолжая то вечное и необходимое притворство, которое двоило его жизнь и делало ее похожею на сцену, он качнулся как-то очень фатовски на ногах, с носков на каблуки, щелкнул пальцами и сказал девушке развязным голосом опытного развратника:

– Ну как, моя цыпочка? Пойдем к тебе? а? Где тут твое гнездышко?

– Сейчас? – удивилась девушка и подняла брови. Он засмеялся игриво, открыв ровные, сплошные, крепкие зубы, густо покраснел и ответил:

– Конечно. Чего же нам терять драгоценное время?

– Тут музыка будет. Танцевать будем.

– Но что такое танцы, моя прелесть? Пустое верчение, ловля самого себя за хвост. А музыку, я думаю, и оттуда слышно?

Она посмотрела на него и улыбнулась:

– Немного слышно.

Он начинал ей нравиться. У него было широкое, скуластое лицо, сплошь выбритое; щеки и узкая полоска над твердыми, четко обрисованными губами слегка синели, как это бывает у очень черноволосых бреющихся людей. Были красивы и темные глаза, хотя во взгляде их было что-то слишком неподвижное, и ворочались они в своих орбитах медленно и тяжело, точно каждый раз проходили очень большое расстояние. Но, хотя и бритый и очень развязный, на актера он не был похож, а скорее на обрусевшего иностранца, на англичанина.

– Ты не немец? – спросила девушка.

– Немножко. Скорее англичанин. Ты любишь англичан?

– А как хорошо говоришь по-русски. Совсем незаметно.

Он вспомнил свой английский паспорт, тот коверканый язык, которым говорил все последнее время, и то, что теперь забыл притвориться как следует, и снова покраснел. И, уже нахмурившись несколько, с сухой деловитостью, в которой чувствовалось утомление, взял девушку под локоть и быстро повел.

– Я русский, русский. Ну, куда идти? Показывай. Сюда?

В большом, до полу, зеркале резко и четко отразилась их пара: она, в черном, бледная и на расстоянии очень красивая, и он, высокий, широкоплечий, также в черном и также бледный. Особенно бледен казался под верхним светом электрической люстры его упрямый лоб и твердые выпуклости щек; а вместо глаз и у него и у девушки были черные, несколько таинственные, но красивые провалы. И так необычна была их черная, строгая пара среди белых стен, в широкой золоченой раме зеркала, что он в изумлении остановился и подумал: как жених и невеста. Впрочем, от бессонницы, вероятно, и от усталости соображал он плохо, и мысли были неожиданные, нелепые; потому что в следующую минуту, взглянув на черную, строгую, траурную пару, подумал: как на похоронах. Но и то и другое было одинаково неприятно.

По-видимому, и девушке передалось его чувство: также молча, с удивлением она разглядывала его и себя, себя и его; попробовала прищурить глаза, но зеркало не ответило на это легкое движение и все также тяжело и упорно продолжало вычерчивать черную застывшую пару. И показалось ли это девушке красивым, или напомнило что-нибудь свое, немного грустное, – она улыбнулась тихо и слегка пожала его твердо согнутую руку.

– Какая парочка! – сказала она задумчиво, и почему-то сразу стали заметнее ее большие черно-лучистые ресницы с тонко изогнутыми концами.

Но он не ответил и решительно пошел дальше, увлекая девушку, четко постукивавшую по паркету высокими французскими каблуками. Был коридор, как всегда, темные, неглубокие комнатки с открытыми дверями, и в одну комнатку, на двери которой было написано неровным почерком: «Люба», – они вошли.

– Ну, вот что, Люба, – сказал он, оглядываясь и привычным жестом потирая руки одна о другую, как будто старательно мыл их в холодной воде, – надобно вина и еще чего там? Фруктов, что ли.

– Фрукты у нас дороги.

– Это ничего. А вино вы пьете?

Он забылся и сказал ей «вы», и хотя заметил это, но поправляться не стал: было что-то в недавнем ее по-

жатии, после чего не хотелось говорить «ты», любезничать и притворяться. И это чувство также как будто передалось ей: она пристально взглянула на него и, помедлив, ответила с нерешительностью в голосе, но не в смысле произносимых слов:

– Да, пью. Погодите, я сейчас. Фруктов я велю принести только две груши и два яблока. Вам хватит?

И она говорила теперь «вы», и в тоне, каким произносила это слово, звучала все та же нерешительность, легкое колебание, вопрос. Но он не обратил на это внимания и, оставшись один, принялся за быстрый и всесторонний осмотр комнаты. Попробовал, как запирается дверь, – она запиралась хорошо, крючком и на ключ; подошел к окну, раскрыл обе рамы – высоко, на третьем этаже, и выходит во двор. Сморщил нос и покачал головою. Потом сделал опыт над светом: две лампочки, и когда гаснет вверху одна, зажигается другая у кровати с красным колпачком – как в приличных отелях.

Но кровать!..

Поднял высоко плечи – и оскалился, делая вид, что смеется, но не смеясь, с той потребностью двигать и играть лицом, какая бывает у людей скрытных и почему-либо таящихся, когда они остаются наконец одни.

Но кровать!

Обошел ее, потрогал ватное, стеганое откинутое

одеяло и с внезапным желанием созорничать, радуясь предстоящему сну, по-мальчишески скривил голову, выпятил вперед губы и вытаращил глаза, выражая этим высшую степень изумления. Но тотчас же сделался серьезен, сел и утомленно стал поджидать Любу. Хотел думать о четверге, о том, что он сейчас в доме терпимости, уже в доме терпимости, но мысли не слушались, щетинились, кололи друг друга. Это начинал раздражаться обиженный сон: такой мягкий там, на улице, теперь он не гладил ласково по лицу волосатой шерстистой ладонью, а крутил ноги, руки, растягивал тело, точно хотел разорвать его. Вдруг начал зевать, истово, до слез. Вынул браунинг, три запасные обоймы с патронами, и со злостью подул в ствол, как в ключ, – все было в порядке, и нестерпимо хотелось спать.

Когда принесли вино и фрукты и пришла запоздавшая почему-то Люба, он запер дверь – сперва только на один крючок, и сказал:

– Ну вот что… вы пейте, Люба. Пожалуйста.

– А вы? – удивилась девушка и искоса, быстро взглянула на него.

– Я потом. Я, видите ли, я две ночи кутил и не спал совсем, и теперь… – Он страшно зевнул, выворачивая челюсти.

– Ну?

– Я скоро. Я один только часок… Я скоро. Вы пейте, пожалуйста, не стесняйтесь. И фрукты кушайте. Отчего вы так мало взяли?

– А в зал мне можно пойти? Там скоро музыка будет.

Это было неудобно. О нем, о странном посетителе, который улегся спать, начнут говорить, догадываться, – это было неудобно. И, легко сдержав зевоту, которая уже сводила челюсти, попросил сдержанно и серьезно:

– Нет, Люба, я попрошу вас остаться здесь. Я, видите ли, очень не люблю спать в комнате один. Конечно, это прихоть, но вы извините меня…

– Нет, отчего же. Раз вы деньги заплатили…

– Да, да, – покраснел он в третий раз. – Конечно. Но не в этом дело. И… Если вы хотите… Вы тоже можете лечь. Я оставлю вам место. Только, пожалуйста, вы уже лягте к стене. Вам это ничего?

– Нет, я спать не хочу… Я так посижу.

– Почитайте что-нибудь.

– Здесь книг нету.

– Хотите сегодняшнюю газету? У меня есть, вот. Тут есть кое-что интересное.

– Нет, не хочу.

– Ну, как хотите, вам виднее. А я, если позволите…

И он запер дверь двойным поворотом ключа и ключ положил в карман. И не заметил странного взгля-

да, каким девушка провожала его. И вообще весь этот вежливый, пристойный разговор, такой дикий в несчастном месте, где самый воздух мутно густел от винных испарений и ругательств, – казался ему совершенно естественным, и простым, и вполне убедительным. Все с тою же вежливостью, точно где-нибудь на лодке, при катанье с барышнями, он слегка раздвинул борты сюртука и спросил:

– Вы мне позволите снять сюртук?

Девушка слегка нахмурилась.

– Пожалуйста. Ведь вы… – Но не договорила – что.

– И жилетку? Очень узкая.

Девушка не ответила и незаметно пожала плечами.

– Вот здесь бумажник, деньги. Будьте добры, спрячьте их у себя.

– Вы лучше бы отдали в контору. У нас все отдают в контору.

– Зачем это? – Но взглянул на девушку и смущенно отвел глаза. – Ах, да, да. Ну, пустяки какие.

– А вы знаете, сколько здесь у вас денег? А то некоторые не знают, а потом…

– Знаю, знаю. И охота вам…

И лег, вежливо оставив одно место у стены. И восхищенный сон, широко улыбнувшись, приложился шерстистой щекою своею к его щеке – одной, другою – обнял мягко, пощекотал колени и блаженно затих,

положив мягкую, пушистую голову на его грудь. Он засмеялся.

– Чего вы смеетесь? – неохотно улыбнулась девушка.

– Так. Хорошо очень. Какие у вас мягкие подушки! Теперь можно и поговорить немного. Отчего вы не пьете?

– А мне можно снять кофточку? Вы позволите? А то сидеть-то долго придется. – В ее голосе звучала легкая усмешка. Но, встретив его доверчивые глаза и предупредительное: «Конечно, пожалуйста!» – серьезно и просто пояснила:

– У меня корсет очень тугой. На теле потом рубцы остаются.

– Конечно, конечно, пожалуйста.

Он слегка отвернулся и опять покраснел. И оттого ли, что бессонница так путала мысли его, оттого ли, что в свои 26 лет он был действительно наивен – и это «можно» показалось ему естественным в доме, где было все позволено и никто ни у кого не просил разрешения.

Слышно было, как хрустел шелк и потрескивали расстегиваемые кнопки. Потом вопрос:

– Вы не писатель?

– Что? Писатель? Нет, я не писатель. А что? Вы любите писателей?

– Нет. Не люблю.

– Отчего же? Они люди… – он сладко и продолжительно зевнул, – ничего себе.

– А как вас зовут?

Молчание и сонный ответ:

– Зовите меня И… нет, Петром. Петр.

И еще вопрос:

– А кто же вы? Кто вы такой?

Спрашивала девушка тихо, но сторожко и твердо, и было такое впечатление от ее голоса, будто она сразу, вся, придвинулась к лежащему. Но он уже не слышал ее, он засыпал. Вспыхнула на мгновение угасающая мысль и в одной картине, где время и пространство слились в одну пеструю груду теней, мрака и света, движения и покоя, людей и бесконечных улиц и бесконечно вертящихся колес, вычертила все эти два дня и две ночи бешеной погони. И вдруг все это затихло, потускнело, провалилось – и в мягком полусвете, в глубочайшей тишине представился один из залов картинной галереи, где вчера он на целых два часа нашел покой от сыщиков. Будто сидит он на красном бархатном, необыкновенно мягком диване и смотрит неподвижно на какую-то большую черную картину; и такой покой идет от этой старой, потрескавшейся картины, и так отдыхают глаза, и так мягко становится мыслям, что на несколько минут, уже засыпающий, он начал

противиться сну, смутно испугался его, как неизвестного беспокойства.

Но заиграла музыка в зале, запрыгали толкачиками коротенькие, частые звуки с голыми безволосыми головками, и он подумал: «Теперь можно спать» – и сразу крепко уснул. Торжествующе взвизгнул милый, мохнатый сон, обнял горячо – и в глубоком молчании, затаив дыхание, они понеслись в прозрачную, тающую глубину.

Так спал он и час и два, навзничь, в той вежливой позе, какую принял перед сном; и правая рука его была в кармане, где ключ и револьвер. А она, девушка с обнаженными руками и шеей, сидела напротив, курила, пила неторопливо коньяк и глядела на него неподвижно; иногда, чтобы лучше разглядеть, она вытягивала тонкую, гибкую шею, и вместе с этим движением у концов губ ее вырастали две глубокие, напряженные складки. Верхнюю лампочку он забыл погасить, и при сильном свете ее был ни молодой ни старый, ни чужой ни близкий, а весь какой-то неизвестный: неизвестные щеки, неизвестный нос, загнутый клювом, как у птицы, неизвестное ровное, крепкое, сильное дыхание. Густые черные волосы на голове были острижены коротко, по-солдатски; и на левом виске, ближе к глазу, был небольшой побелевший шрам от какого-то старого ушиба. Креста на шее у него не было.

Музыка в зале то замирала, то вновь разражалась звуками клавиш и скрипки, пением и топотом танцующих ног, а она все сидела, курила папиросы и разглядывала спящего. Внимательно, вытянув шею, рассмотрела его левую руку, лежавшую на груди: очень широкая в ладони, с крупными пальцами – на груди она производила впечатление тяжести, чего-то давящего больно; и осторожным движением девушка сняла ее и положила вдоль туловища на кровати. Потом встала быстро и шумно, и с силою, точно желая сломать рожок, погасила верхний свет и зажгла нижний, под красным колпачком.

Но он и в этот раз не пошевелился, и все тем же неизвестным, пугающим своей неподвижностью и покоем осталось его порозовевшее лицо. И, отвернувшись, охватив колена голыми, нежно розовеющими руками, девушка закинула голову и неподвижно уставилась в потолок черными провалами немигающих глаз. И в зубах ее, стиснутая крепко, застыла недокуренная потухшая папироса.

III

Что-то произошло неожиданное и грозное. Что-то большое и важное случилось, пока он спал, – он понял это сразу, еще не проснувшись как следует, при первых же звуках незнакомого, хриплого голоса, понял тем изощренным чутьем опасности, которое у него и его товарищей составляло как бы особое, новое чувство. Быстро спустил ноги и сел, и уже крепко сжал рукою револьвер, пока глаза остро и зорко обыскивали розовый туман. И когда увидел ее, все в той же позе, с прозрачно-розовыми плечами и грудью и загадочно почерневшими, неподвижными глазами, подумал: выдала! Посмотрел пристальнее, передохнул глубоко и поправился: еще не выдала, но выдаст.

Плохо!

Вздохнул еще и коротко спросил:

– Ну? Что?

Но она молчала. Улыбалась торжествующе и зло, смотрела на него и молчала – будто уже считала его своим и, не торопясь, никуда не спеша, хотела насладиться своею властью.

– Ты что сказала сейчас? – повторил он, нахмурившись.

– Что я сказала? Вставай, я сказала, вот что. Будет.

Поспал. Будет. Пора и честь знать. Тут не ночлежка, миленький!

– Зажги лампочку! – приказал он.

– Не зажгу.

Зажег сам. И увидел под белым светом бесконечно злые, черные, подведенные глаза и рот, сжатый ненавистью и презрением. И голые руки увидел. И всю ее, чуждую, решительную, на что-то бесповоротно готовую. Отвратительной показалась ему эта проститутка.

– Что с тобою – ты пьяна? – спросил он серьезно и беспокойно и протянул руку к своему высокому крахмальному воротничку. Но она предупредила его движение, схватила воротничок и, не глядя, бросила куда-то в угол, за комод.

– Не дам!

– Это еще что? – сдержанно крикнул он и стиснул ее руку твердым, крепким, круглым, как железное кольцо, пожатием, и тонкая рука бессильно распростерла пальцы.

– Пусти, больно! – сказала девушка, и он сжал слабее, но руки не выпустил.

– Ты смотри!

– А что, миленький? Застрелить меня хочешь, да? Это что у тебя в кармане, – револьвер? Что же, застрели, застрели, посмотрю я, как это ты меня застре-

лишь. Как же, скажите, пожалуйста, пришел к женщине, а сам спать лег. Пей, говорит, а я спать буду. Стриженый, бритый, так никто, думает, не узнает. А в полицию хочешь? В полицию, миленький, хочешь?

Она засмеялась громко и весело – и действительно он с ужасом увидел это: на ее лице была дикая, отчаянная радость. Точно она сходила с ума. И от мысли, что все погибло так нелепо, что придется совершить это глупое, жестокое и ненужное убийство и все-таки, вероятно, погибнуть – стало еще ужаснее. Совсем белый, но все еще с виду спокойный, все еще решительный, он смотрел на нее, следил за каждым движением и словом и соображал.

– Ну? Что же молчишь? Язык от страху отнялся?

Взять эту гибкую змеиную шею и сдавить; крикнуть она, конечно, не успеет. И не жалко: правда, теперь, когда рукою он удерживает ее на месте, она ворочает головой совершенно по-змеиному. Не жалко, но там, внизу?

– А ты знаешь, Люба, кто я?

– Знаю. Ты, – она твердо и несколько торжественно, по слогам, произнесла: – Ты революционер. Вот кто.

– А откуда это известно?

Она улыбнулась насмешливо.

– Не в лесу живем.

– Ну, допустим…

– То-то допустим. Да руку-то не держи. Над женщиной все вы умеете силу показывать. Пусти!

Он отпустил руку и сел, глядя на девушку с тяжелой и упорной задумчивостью. В скулах у него что-то двигалось, бегал беспокойно какой-то шарик, но все лицо было спокойно, серьезно и немного печально. И опять он, с этой задумчивостью своей и печалью, стал неизвестный и, должно быть, очень хороший.

– Ну, что уставился! – грубо крикнула девушка и неожиданно для себя самой прибавила циничное ругательство.

Он поднял удивленно брови, но глаз не отвел и заговорил спокойно и несколько глухо и чуждо, будто с очень большого расстояния:

– Вот что, Люба. Конечно, ты можешь предать меня, и не одна ты можешь это сделать, а всякий в этом доме, почти каждый человек с улицы. Крикнет: держи, хватай! – и сейчас же соберутся десятки, сотни и постараются схватить, даже убить. А за что? Только за то, что никому я не сделал плохого, только за то, что всю мою жизнь я отдал этим же людям. Ты понимаешь, что это значит: отдал всю жизнь?

– Нет, не понимаю, – резко ответила девушка. Но слушала внимательно.

– И одни сделают это по глупости, другие по злобе. Потому что, Люба, не выносит плохой хорошего, не

любят злые добрых…

– А за что их любить?

– Не подумай, Люба, что я так, нарочно, хвалю себя. Но посмотри: что такое моя жизнь, вся моя жизнь? С четырнадцати лет я треплюсь по тюрьмам. Из гимназии выгнали, из дому выгнали – родители выгнали. Раз чуть не застрелили меня, чудом спасся. И вот, как подумаешь, что всю жизнь так, всю жизнь только для других – и ничего для себя. Ничего.

– А отчего же это ты такой хороший? – спросила девушка насмешливо; но он серьезно ответил:

– Не знаю. Родился, должно быть, такой.

– А я вот плохая родилась. А ведь тем же местом на свет шла, как и ты, – головою! Поди ж ты!

Но он как будто не слыхал. С тем же взглядом внутрь себя, в свое прошлое, которое теперь в словах его вставало перед ним самим так неожиданно и просто героичным, он продолжал:

– Ты подумай: мне двадцать шесть лет, на висках у меня уже седина, а я до сих пор… – он запнулся немного, но окончил твердо и даже с надменностью: – Я до сих пор не знаю женщин. Понимаешь, совсем. И тебя я первую вижу вот так. И скажу правду, мне немного стыдно смотреть на твои голые руки.

Снова отчаянно заиграла музыка, и от топота ног в зале задрожал слегка пол. И кто-то, пьяный, отчаянно

гикал, как будто гнал табун разъярившихся коней. А в их комнате было тихо, и слабо колыхался в розовом тумане табачный дым и таял.

– Так вот, Люба, какая моя жизнь! – И он задумчиво и строго опустил глаза, покоренный воспоминаниями о жизни, такой чистой и мучительно прекрасной.

А она молчала. Потом встала и накинула на голые плечи платок. Но, встретив его удивленный и словно благодарный взгляд, усмехнулась и резко сдернула платок, и так сделала рубашку, что одна, прозрачно-розовая и нежная грудь обнажилась совсем. Он отвернулся и слегка пожал плечами.

– Пей! – сказала девушка. – Будет ломаться.

– Я не пью совсем.

– Не пьешь? А я вот пью! – И она опять нехорошо засмеялась.

– Вот если папиросочки у тебя есть, я возьму.

– У меня плохие.

– А мне все равно.

И когда брал папиросу, заметил с радостью, что рубашку Люба поправила, – явилась надежда, что все еще уладится. Курил он плохо, не затягиваясь, и папиросу держал, как женщина, между двумя напряженно выпрямленными пальцами.

– Ты и курить-то не умеешь! – сказала девушка гневно и грубо вырвала папироску из его рук. – Брось.

– Вот ты опять сердишься…

– Да, сержусь.

– А за что, Люба? Ты подумай: ведь я правда две ночи не спал, как волк бегал по городу. Ну и выдашь ты меня, ну и заберут меня – тебе какая от этого радость? Так ведь я, Люба, живой-то еще и не сдамся…

Он замолчал.

– Стрелять будешь?

– Да. Стрелять буду.

Музыка оборвалась, но тот дикий, обезумевший от вина, продолжал еще гикать; видимо, кто-то, шутя или серьезно, зажимал ему рот рукою, и сквозь пальцы звук прорывался еще более отчаянным и страшным. В комнатке пахло духами, не то душистым, дешевым мылом, и запах был густой, влажный, развратный; и на одной стене, неприкрытые, висели смято и плоско какие-то юбки и кофточки. И так все это было противно, и так странно было подумать, что это – тоже жизнь и такой жизнью люди могут жить всегда, что он с недоумением пожал плечами и еще раз медленно оглянулся.

– Как тут у вас… – сказал он раздумчиво и остановился глазами на Любе.

– Ну? – спросила она коротко. И, взглянув на нее, как она стояла, он понял, что ее надо пожалеть; и как только понял, тотчас же искренно пожалел.

– Бедная ты, Люба.

– Ну?

– Дай руку.

И, несколько подчеркивая свое отношение к девушке как к человеку, взял ее руку и почтительно приложил к губам.

– Это ты мне?

– Да, Люба, тебе.

И совсем тихо, точно благодаря его, девушка произнесла:

– Вон! Вон отсюда, болван!

Он понял не сразу:

– Что?

– Уходи! Вон отсюда. Вон.

Молча, крупными шагами, она прошла комнату, достала из угла белый воротничок и бросила его с таким выражением гадливости, точно была это самая грязная, загаженная тряпка. И так же молча, с видом высокомерия, не удостаивая девушки даже взглядом, он начал спокойно и медленно пристегивать воротничок; но уже в следующую секунду, взвизгнув дико, Люба с силою ударила его по бритой щеке. Воротничок покатился по полу, и сам он пошатнулся, но устоял на ногах. И, страшно бледный, почти синий, но все также молча, с тем же видом высокомерия и горделивого недоумения, остановился на Любе своими тяжелыми,

неподвижными глазами. Она дышала часто и смотрела на него с ужасом.

– Ну?! – выдохнула она.

Он смотрел на нее и молчал. И, совершенно безумная от этой надменной безответственности, ужасаясь, теряя соображение, как перед каменной глухой стеною, девушка схватила его за плечи и с силою посадила на кровать. Наклонилась близко, к самому лицу, к самым глазам.

– Ну что же ты молчишь! Что же ты со мной делаешь, подлец, подлец же ты. Руку поцеловал! Хвастаться сюда пришел! Красоту свою показывать! Да что же ты со мною делаешь, да несчастная же я!

Она трясла его за плечи, и ее тонкие пальцы, сжимаясь и разжимаясь бессознательно, как у кошки, царапали его тело сквозь рубашку.

– Женщин не знал, подлец, да? И это мне смеешь говорить, мне, которую все мужчины… все… Где же у тебя совесть, что же ты со мной делаешь! Живой не дамся, да! А я вот мертвая – понимаешь, подлец, мертвая я. А я вот наплюю в твое лицо… На… живой! На, подлец, на! Иди теперь, иди!

С гневом, которого больше не мог сдерживать, он отшвырнул ее от себя, и затылком она ударилась о стену. По-видимому, он уже плохо соображал, потому что следующим таким же быстрым и решительным

движением он выхватил револьвер – точно улыбнулся чей-то черный, беззубый, провалившийся рот. Но девушка не видела ни его оплеванного, мокрого, искаженного бешеным гневом лица, ни черного револьвера. Закрыв ладонями глаза, точно вдавливая их в самую глубину черепа, она прошла быстрыми крупными шагами и бросилась в постель, лицом вниз. И тотчас же беззвучно зарыдала.

Выходило все не то, чего он ждал; получалась бессмыслица, нелепость, вылезал своей мятой рожей дикий, пьяный, истерический хаос. Передернув плечами, он спрятал ненужный револьвер и принялся ходить по комнате. Девушка плакала. Прошелся еще и еще – девушка плакала. Остановился над нею, руки в карманах, и стал глядеть. Лежала ничком женщина и рыдала безумно, в отчаянной, нестерпимой муке, как могут только рыдать люди над потерянной жизнью, над чем-то бóльшим жизни, потерянным навсегда. Заострившиеся голые лопатки то сходились почти вместе, точно снизу под грудь ей подкладывали огонь, горячие уголья; то раздвигались медленно, словно она уходила куда-то, к груди прижимала свою тоску и горе свое. А музыка опять играла, и теперь играла она мазурку, и слышно было, как щелкают чьи-то шпоры. Должно быть, приехали офицеры.

Таких слез он еще не видал и смутился. Вынул за-

чем-то руки из карманов и тихо сказал:

– Люба!

Плакала Люба.

– Люба, о чем ты, Люба!

Девушка ответила что-то, но так тихо, что он не расслыхал. Сел возле на кровать, наклонил стриженую крупную голову и положил руку на плечи – и безумным трепетом ответила рука на дрожь этих жалких, голых женских плеч.

– Я не слышу, что ты говоришь… Люба!

И далекое, глухое, налитое слезами:

– Подожди уходить… Там… приехали офицеры. Они тебя… могут… О, Господи, что же это такое!

Она быстро села на кровать и замерла, всплеснув руками, неподвижно, с ужасом глядя в пространство расширенными глазами. Это был страшный взгляд, и продолжался он одно мгновение. И опять девушка лежала ничком и плакала. А там ритмично щелкали шпоры, и, видимо, чем-то возбужденный или напуганный тапер старательно отбивал такты стремительной мазурки.

– Выпей воды, Любочка!.. Ну выпей, выпей. Пожалуйста… – шептал он, наклонившись.

Но ухо было закрыто волосами, и, боясь, что она не слышит, он осторожно отвел эти черные, слегка вьющиеся пряди, сожженные завивкой, и открыл малень-

кую, красную, пылавшую раковинку.

– Выпей, пожалуйста, я прошу тебя.

– Нет, не хочу. Не надо. Пройдет и так.

Она действительно успокаивалась. Прекратились рыдания – одно, другое глухое, длительное всхлипывание, и плечи перестали дрожать и стали неподвижны и задумчивы глубоко. И он тихонько гладил ее, от шеи к кружеву рубашки, и опять.

– Тебе лучше, Люба?.. Любочка?

Она не ответила, вздохнула протяжно и, повернувшись, быстро и коротко взглянула на него. Потом спустила ноги и села рядом, еще раз взглянула и прядями волос своих вытерла ему лицо, глаза. Еще раз вздохнула и мягким простым движением положила голову на плечо, а он также просто обнял ее и тихонько прижал к себе. И то, что пальцы его прикасались к ее голому плечу, теперь не смущало его; и так долго сидели они и молчали, и неподвижно смотрели перед собою их потемневшие, сразу окружившиеся глаза. Вздыхали.

Вдруг в коридоре зазвучали голоса, шаги; зазвенели шпоры, мягко и деликатно, как это бывает только у молоденьких офицеров, и все это приближалось – и остановилось у их двери. Он быстро встал, – а в дверь уже стучал кто-то, сперва пальцами, потом кулаком, и чей-то женский голос глухо кричал:

– Любка, отвори!

IV

Он смотрел на нее и ждал.

– Дай платок! – сказала она не глядя и протянула руку. Вытерла крепко лицо, громко высморкалась, бросила ему на колени платок и пошла к двери. Он смотрел и ждал. На ходу Люба закрыла электричество, и сразу стало так темно, что он услыхал свое дыхание, несколько затрудненное. И почему-то снова сел на слабо скрипнувшую кровать.

– Ну, что там? Чего надо? – спросила Люба сквозь дверь, не отпирая, и голос у нее был немного недовольный, но спокойный.

Сразу, перебивая друг друга, зазвенело несколько женских голосов. И так же сразу они оборвались, и мужской голос, как-то странно почтительный, настойчиво стал просить.

– Нет, не пойду.

Опять зазвенели голоса, и опять, обрезая их, как ножницы обрезают развившуюся шелковую нить, заговорил мужской голос, убедительный, молодой, за которым чувствовались белые, крепкие зубы и усы, и шпоры звякнули отчетливо, точно говоривший кланялся. И странно: Люба засмеялась.

– Нет, нет, не пойду… Да, хорошо, очень хорошо…

Ну и пусть зовут Любовь, а я все-таки не пойду.

Еще раз стук в дверь, смех, ругательство, щелканье шпор, и все отодвинулось от двери и погасло где-то в конце коридора. В темноте, нащупав рукою его колено, Люба села возле, но головы на плечо класть не стала. И коротко пояснила:

– Офицеры бал устраивают. Всех сзывают. Будут котильон танцевать.

– Люба, – попросил он ласково, – зажги, пожалуйста, огонь. Не сердись.

Молча она встала и повернула рожок. И уже не рядом с ним села, а по-прежнему на стул против кровати. И лицо у нее было хмурое, неприветливое, но вежливое – как у хозяйки, которая должна выждать неприятный, затянувшийся визит.

– Вы не сердитесь на меня, Люба?

– Нет. За что же?

– Я удивился сейчас, как вы весело смеялись. Как это вы можете?

Она усмехнулась, не глядя.

– Весело, вот и смеюсь. А вам нельзя сейчас уходить. Нужно подождать, пока разойдутся офицеры. Они скоро.

– Хорошо, подожду. Спасибо вам, Люба.

Она опять усмехнулась.

– Это за что же? Какой вы вежливый.

– Вам это нравится?

– Не особенно. Вы кто по рождению?

– Отец – доктор, военный врач. Дед был мужик. Мы из старообрядцев.

Люба с некоторым интересом взглянула на него.

– Вот как! А креста на шее нет.

– Креста? – усмехнулся он. – Мы крест на спине несем.

Девушка нахмурилась слегка.

– Вы спать хотели. Вы бы лучше легли, чем так время проводить.

– Нет, я не лягу. Я не хочу теперь спать.

– Как хотите.

Было долгое и неловкое молчание. Люба смотрела вниз и сосредоточенно вертела на пальце колечко; он обводил глазами комнату, каждый раз старательно минуя взглядом девушку, и остановился на недопитой маленькой рюмке с коньяком. И вдруг с необыкновенной ясностью, почти осязательностью, ему представилось, что все это уже было: и эта желтенькая рюмка, и именно с коньяком, и девушка, внимательно оборачивающая кольцо, и он сам – не этот, а какой-то другой, несколько иной, несколько особенный. И как раз только что кончилась музыка, как и теперь, и было тихое позвякивание шпор. Будто он жил уже когда-то, – но не в этом доме, а в месте, очень похожем

на это, и как-то действовал, и даже был очень важным в этом смысле лицом, вокруг которого что-то происходило. Странное чувство было так сильно, что он испуганно тряхнул головою; и быстро оно исчезло, но не совсем: остался легкий, несглаживающийся след потревоженных воспоминаний о том, чего не было. И затем не раз в течение этой необыкновенной ночи он ловил себя на том, что, глядя на какую-нибудь вещь или лицо, старательно припоминал их, вызывал их из глубокой тьмы прошедшего или даже совсем не бывшего.

Если бы не знать наверное, он сказал бы, что уже был здесь однажды, – так минутами начинало все это казаться знакомым и привычным. И это было неприятно, так как слегка отчуждало его от себя и от своих и странно приближало к публичному дому с его дикой, отвратительной жизнью.

Молчать становилось тяжело. Спросил:

– Отчего вы не пьете?

Она вздрогнула:

– Что?

– Вы бы выпили, Люба. Отчего вы не пьете?

– Одна я не хочу.

– К сожалению, я не пью.

– А я одна не хочу.

– Я лучше грушу съем.

– Ешьте. Для того и брали.

– А вы грушу не хотите?

Девушка не ответила и отвернулась. Но поймала на своих голых и прозрачно-розовых плечах его взгляд и накинула на них серый вязаный платок.

– Холодно что-то, – сказала она отрывисто.

– Да, холодновато, – согласился он, хотя в маленькой комнатке было жарко. И опять стояло долгое и напряженное молчание. Из зала донеслись громкие, призывные звуки ритурнеля.

– Танцуют, – сказал он.

– Танцуют, – ответила она.

– За что вы, Люба, так рассердились на меня… и ударили меня?

– Так нужно было, вот и ударила. Не убила ведь, чего же спрашивать? – Она нехорошо засмеялась.

Девушка сказала: «так нужно». Смотрела на него прямо своими черными, окружившимися глазами, улыбалась бледно и решительно и говорила: «так нужно». И на подбородке у нее была ямочка. Трудно было поверить, что это ее голова – вот эта злая, бледная голова – минуту назад лежала на его плече. И ее он ласкал.

– Так вот как! – сказал он мрачно. Прошелся несколько раз по комнате, на шаг не доходя до девушки, и, когда сел на прежнее место, – лицо у него бы-

ло чужое, суровое и несколько надменное. Молчал, смотрел, подняв брови на потолок, на котором играло светлое с розовыми краями пятно. Что-то ползало, маленькое и черное, должно быть, ожившая от тепла, запоздалая, осенняя муха. Проснулась она среди ночи и ничего, наверно, не понимает и умрет скоро. Вздохнул.

Девушка громко рассмеялась.

– Что вас радует? – холодно взглянул он и отвернулся.

– Да так. А ведь вы действительно похожи на писателя. Вы не обижаетесь? Он тоже сперва пожалеет, а потом начинает сердиться, отчего я не молюсь на него, как на икону. Такой обидчивый. Будь бы он Богом, ни одной лампадки бы не простил… – Она засмеялась.

– А откуда вы знаете писателей? Ведь вы ничего не читаете.

– Бывает один, – коротко ответила Люба.

Он задумался, устремив на девушку неподвижный, тяжелый, как-то слишком спокойно разглядывающий взор. Как человек, проведший жизнь в мятеже, он и в девушке смутно почувствовал бунтарскую душу, и это волновало его и заставляло искать и догадываться: почему именно на него обрушился ее гнев? И то, что она имела дело с писателями и, вероятно, раз-

говаривала с ними, и то, что она могла держать себя иногда так спокойно и с достоинством, и говорить так зло, – невольно поднимало ее и ее удару придавало характер чего-то значительно более серьезного и важного, чем простая истерическая вспышка полупьяной и полуголой проститутки. И, только рассерженный, но нисколько не оскорбленный вначале, – теперь, когда прошло уже столько времени, он вдруг минутами начинал оскорбляться – и не только умом.

– За что вы ударили меня, Люба? Когда человека бьют по лицу, то должны сказать ему, за что? – повторил он прежний вопрос хмуро и настойчиво. Упрямство и твердость камня были в его выдавшихся скулах, тяжелом лбу, давившем глаза.

– Не знаю, – ответила Люба так же упрямо, но избегая его взгляда.

Не хотела отвечать. Он передернул плечами и снова с упорством принялся разглядывать девушку и соображать. Его мысль в обычное время была туга и медленна; но, потревоженная однажды, она начинала работать с силою и неуклонностью почти механическими, становилась чем-то вроде гидравлического пресса, который, опускаясь медленно, дробит камни, выгибает железные балки, давит людей, если они попадут под него – равнодушно, медленно и неотвратимо. Не оглядываясь ни направо, ни налево, равно-

душный к софизмам, полуответам и намекам, он двигал свою мысль тяжело, даже жестоко – пока не распылится она или не дойдет до того крайнего, логического предела, за которым пустота и тайна. Своей мысли от себя он не отделял, мыслил как-то весь, всем телом, и каждый логический вывод тотчас становился для него и действенным, – как это бывает только у очень здоровых, непосредственных людей, не сделавших еще из своей мысли игрушку.

И теперь, взбудораженный, выбитый из колеи, похожий на большой паровоз, который среди черной ночи сошел с рельсов и продолжает каким-то чудом прыгать по кочкам и буграм – он искал дороги, во что бы то ни стало хотел найти ее. Но девушка молчала и, видимо, вовсе не хотела разговаривать.

– Люба! Давайте поговорим спокойно. Надо же…

– Я не хочу говорить спокойно. Опять!

– Слушайте, Люба. Вы меня ударили, и так я этого не оставлю.

Девушка усмехнулась.

– Да? Что же вы со мной сделаете? К мировому пойдете?

– Нет. Но я буду ходить к вам, пока вы мне не объясните.

– Милости просим! Хозяйке доход.

– Приду завтра. Приду…

И вдруг, почти одновременно с мыслью, что ни завтра, ни послезавтра ему прийти нельзя, – явилась догадка, даже уверенность, почему девушка поступила так. Он даже повеселел.

– Ах, так вот как! Это вы за то ударили меня, что я пожалел вас, оскорбил своею жалостью? Да, глупо вышло… Правда, я этого не хотел, но, быть может, это действительно оскорбляет. Конечно, раз вы такой же человек, как и я…

– Такой же? – Она усмехнулась.

– Ну, будет. Давайте руку, помиримся.

Люба опять слегка побледнела.

– Вы хотите, чтобы я опять вам по роже дала?

– Да ведь руку, по-товарищески! По-товарищески! – искренно, даже басом почему-то, воскликнул он.

Но Люба встала и, уже отойдя несколько, произнесла:

– Знаете что… Либо вы дурак, либо вас действительно мало били!

Потом взглянула на него и громко расхохоталась:

– Ну, ей-богу же, мой писатель! Совершеннейший писатель! Да как же вас не бить, голубчик вы мой!

По-видимому, слово «писатель» было для нее бранным, и вкладывала она в него свой особенный, определенный смысл. И уже с совершенным, с полным презрением, не считаясь с ним, как с вещью, как

с безнадежным идиотом или пьяным, свободно прошлась по комнате и кинула вскользь:

– А что, я тебя больно ударила? Чего ты хнычешь все?

Он не ответил.

– Писатель мой говорит, что я больно дерусь. Но, может, у него лицо поблагороднее, а по твоей мужицкой харе сколько ни хлопай, не почувствуешь? Ах, много народу я по морде била, а никого мне так не жалко, как писательчика моего. Бей, говорит, бей, – так мне и надо. Пьяный, слюнявый, бить-то даже противно. Такая сволочь. А об твою рожу я даже руку ушибла. На – целуй ушибленное.

Она ткнула руку к его губам и снова быстро заходила. Возбуждение ее росло, и казалось минутами, будто она задыхается в чем-то горячем: потирала себе грудь, дышала широко открытым ртом и бессознательно хваталась за оконные драпри. И уже два раза на ходу налила и выпила коньяку. Во второй раз он заметил ей угрюмо-вопросительно:

– Вы же не хотели пить одна?

– Характеру нет, голубчик, – ответила она просто. – Да и отравлена я, не попью некоторое время, удушье делается. От этого и подохну.

И вдруг, точно теперь только заметив его, удивленно вскинула глаза и захохотала.

– А, это ты! Тут еще, не ушел. Посиди, посиди! – С диким выражением глаз она сдернула вязаный платок, и снова зарозовели ее плечи и тонкие, нежные руки.

– И чего-то я закуталась? Тут и так жарко, а я… Это я его берегла, как же, нужно… Послушайте, вы бы сняли штаны. Тут таковские, тут можно без штанов. Может быть, у вас грязные кальсоны, так я вам дам свои. Ничего, что с разрезом? Послушайте, наденьте! Ну, миленький, ну, голубчик, ну, что вам стоит…

Она хохотала и, захлебываясь от хохота, просила его, протягивала руки. Потом быстро соскользнула на пол, стала на колени и, ловя его руки, умоляла:

– Ну, голубчик, ну, миленький, я вам ручки расцелую!..

Он отодвинулся и с угрюмой тоскою сказал:

– За что вы меня, Люба? Что я вам сделал? Я так хорошо к вам отношусь… За что вы меня, за что? Разве я обидел вас? Ну, если обидел, простите. Ведь я совсем в этом, во всех этих делах… несведущ.

Передернув презрительно голыми плечами, Люба гибко поднялась с колен и села. Дышала она трудно.

– Значит, не наденете? А жалко, я бы посмотрела.

Он начал говорить что-то, запнулся и продолжал нерешительно, растягивая слова:

– Послушайте, Люба… Конечно, я… все это пустя-

ки. И если вы уже так хотите, то… можно потушить огонь. Потушите огонь, Люба.

– Что? – удивилась девушка и широко открыла глаза.

– Я хочу сказать, – заторопился он, – что вы женщина, и я… Конечно, я был неправ… Вы не думайте, что это жалость, Люба, нет, вовсе нет… Я и сам… Потушите огонь, Люба.

Смущенно улыбнувшись, он протянул к ней руки с неуклюжей ласковостью человека, который никогда не имел дела с женщинами. И увидел: сцепив напряженно пальцы, она поднесла их к подбородку и точно вся превратилась в одно огромное, задержанное в поднятой груди дыхание. И глаза у нее стали огромные, и смотрели они с ужасом, с тоской, с невыносимым презрением.

– Что вы, Люба? – отшатнулся он.

И с холодным ужасом, почти тихо, она произнесла, не разжимая пальцев:

– Ах, негодяй! Боже мой, какой же ты негодяй!

И, багрово-красный от стыда, отвергнутый, оскорбленный тем, что сам оскорбил, он топнул ногою и бросил в широко открытые глаза, в их безбрежный ужас и тоску, короткие, грубые слова:

– Проститутка! Дрянь! Молчи!

Но она тихо качала головою и повторяла:

– Боже мой! Боже мой, какой же ты негодяй!

– Молчи, дрянь! Ты пьяна. Ты с ума сошла. Ты думаешь, мне нужно твое поганое тело. Ты думаешь, для такой я себя берег, как ты. Дрянь, бить тебя надо! – Он размахнулся рукою, чтобы дать пощечину, но не ударил.

– Боже мой! Боже мой!

– И их еще жалеют! Истреблять их надо, эту мерзость, эту мерзость. И тех, кто с вами, всю эту сволочь… И это обо мне, обо мне ты смела подумать! – Он крепко сжал ее руки и бросил ее на стул.

– Хороший! Да? Хороший? – хохотала она в восторге, будто обрадовалась безмерно.

– Да, хороший! Честный всю жизнь! Чистый! А ты? А кто ты, дрянь, зверюка несчастная?

– Хороший! – упивалась она восторгом.

– Да, хороший. Послезавтра я пойду на смерть для людей, а ты – а ты? Ты с палачами моими спать будешь. Зови сюда твоих офицеров. Я брошу им тебя под ноги: берите вашу падаль. Зови!

Люба медленно встала. И когда он, бурно взволнованный, гордый, с широко раздувающимися ноздрями, взглянул на нее, то встретил такой же гордый и еще более презрительный взгляд. Даже жалость как будто светилась в надменных глазах проститутки, вдруг чудом поднявшейся на ступень невидимого

престола и оттуда с холодным и строгим вниманием разглядывавшей у ног своих что-то маленькое, крикливое и жалкое. Уже не смеялась она, и волнения не было заметно, и глаз невольно искал ступенек, на которых стоит она, – так сверху вниз умела глядеть эта женщина.

– Ты что? – спросил он, отступая, все еще яростный, но уже поддающийся влиянию спокойного, надменного взгляда.

И строго, с зловещей убедительностью, за которой чувствовались миллионы раздавленных жизней, и моря горьких слез, и огненный непрерывный бунт возмущенной справедливости, она спросила:

– Какое же ты имеешь право быть хорошим, когда я – плохая?

– Что? – не понял он сразу, вдруг ужаснувшись пропасти, которая у самых ног его раскрыла свой черный зев.

– Я давно тебя ждала.

– Ты меня ждала?

– Да. Хорошего ждала. Пять лет ждала, может, больше. Все они, какие приходили, жаловались, что подлецы они. Да подлецы они и есть. Мой писатель говорил сперва, что хороший, а потом сознался, что тоже подлец. Таких мне не нужно.

– Чего же тебе нужно?

– Тебя мне нужно, миленький. Тебя. Да, как раз такой. – Она внимательно и спокойно оглядела его с ног до головы и утвердительно кивнула бледной головой. – Да. Спасибо, что пришел.

Ему, ничего не боявшемуся, вдруг стало страшно.

– Чего же тебе надо? – повторил он, отступая.

– Надо было хорошего ударить, миленький, настоящего хорошего. А тех слюнтяев и бить не стоит, руки только марать. Ну вот и ударила, можно теперь и ручку себе поцеловать. Милая ручка, хорошего ударила!

Она засмеялась и действительно погладила и трижды поцеловала свою правую руку. Он дико смотрел на нее, и мысли его, такие медленные, теперь бежали с отчаянной быстротою; и уже приближалось, словно черная туча, то ужасное и непоправимое, как смерть.

– Ты что сказала… Что ты сказала?

– Я сказала: стыдно быть хорошим. А ты этого не знал?

– Не знал, – пробормотал он, вдруг глубоко задумавшись и даже как будто забывши про нее. Сел.

– Ну вот, узнай.

Говорила она спокойно, и только по тому, как ходила под рубашкой грудь, заметно было глубокое волнение, сдушенный тысячеголосый крик.

– Ну, узнал?

– Что? – очнулся он.

– Узнал, говорю?

– Погоди!

– Погожу, миленький. Пять лет ждала, а теперь пять минуток да не погодить!

Она опустилась на стул и, точно в предчувствии какой-то необыкновенной радости, заломила голые руки и закрыла глаза:

– Ах, миленький, миленький ты мой!..

– Ты сказала: стыдно быть хорошим?

– Да, миленький, стыдно.

– Так ведь это!.. – Он в страхе остановился.

– То-то и есть. Испугался? Ничего, ничего. Это сначала только страшно.

– А потом?

– Вот останешься со мною и узнаешь, что потом.

Он не понял.

– Как останусь?

Удивилась, в свою очередь, девушка:

– Да разве теперь, после этого, тебе можно куда-нибудь идти? Смотри, миленький, не обманывай. Ведь не подлец же и ты, как другие. А хороший – так останешься, никуда не пойдешь. Недаром же я тебя ждала.

– Ты с ума сошла! – сказал он резко.

Она строго поглядела на него и даже погрозила пальцем.

– Нехорошо. Не говори так. Раз пришла к тебе правда, поклонись ей низко, а не говори: ты с ума сошла. Это мой писатель говорит: ты с ума сошла! – так на то он и подлец. А ты будь честный.

– А вдруг не останусь? – мрачно усмехнулся он побелевшими искривленными губами.

– Останешься! – сказала она с уверенностью. – Куда тебе идти теперь? Тебе некуда идти. Ты честный. У подлеца дорог много, а у честного одна. Это я еще тогда поняла, как ты мне руку поцеловал. Дурак, думаю, а честный. Ты не обижаешься, что я дураком тебя сочла? Да ты сам виноват. Зачем ты невинность свою мне предлагал? Думал: дам ей невинность мою, она и отступится. Ах, дурачок, дурачок! Сперва я даже обиделась: что же это, думаю, даже за человека не считает; а потом вижу, что и это тоже от хорошести от твоей. И так ты рассчитывал: отдам ей невинность и оттого, что отдам, стану я еще невиннее, и получится у меня вроде как бы неразменный рубль. Я его нищему, а он ко мне назад. Я его нищему, а он ко мне назад. Нет, миленький, этот номер не пройдет.

– Не пройдет?

– Не-е-т, миленький, – протянула она. – Не на дуру напал. Я купцов-то этих достаточно насмотрелась: награбит миллионы, а потом даст целковый на церковь да и думает, что прав. Нет, миленький, ты мне

всю церковь построй. Ты мне самое дорогое дай, что у тебя есть, а то невинность! Может, и невинность-то только потому и отдаешь, что самому не нужна стала, заплесневела. Невеста у тебя есть?

– Нет.

– А будь невеста и жди она тебя завтра с цветами, да с поцелуями, да с любовью – отдал бы невинность или нет?

– Не знаю, – сказал он задумчиво.

– Вот то-то и есть. Сказал бы: лучше жизнь мою возьми, а честь мою оставь! Что подешевле, то и отдаешь. Нет, ты мне самое дорогое отдай, такое, без чего сам не можешь жить, вот!

– Да зачем я отдам? Зачем?

– Как зачем? Да все затем же, чтобы стыдно не было.

– Люба, – воскликнул он в удивлении. – Послушай, да ведь ты сама…

– Хорошая, хочешь сказать? Слыхала и это. От писательчика моего не раз слыхала. Только это, миленький, неправда. Самая я настоящая девка. Вот останешься, узнаешь.

– Да не останусь же я! – крикнул он сквозь зубы.

– Не кричи, миленький. Криком против правды ничего не сделаешь. Правда как смерть – придет, так принимай, какая ни на есть. С правдой тяжело, ми-

ленький, встретиться, по себе знаю, – и шепотом, глядя ему прямо в глаза, добавила: – Бог-то ведь тоже хороший!

– Ну?

– Больше ничего… Сам понимай, а я ничего говорить не стану. Только вот уже пять лет, как в церкви не была. Вот она, правда-то!

Правда, какая правда? Что это еще за новый, неизвестный ужас, которого не знал он ни перед лицом смерти, ни перед лицом самой жизни? Правда!

Скуластый, крепкоголовый, знающий только «да» и «нет», он сидел, опершись головою о руки, и медленно переводил глаза, будто с одного края жизни до другого края ее. И распадалась жизнь, как плохо склеенный запертый ящичек, попавший под осенний дождь, и в жалких обломках ее нельзя было узнать недавнего прекрасного целого, чистого хранилища души его. Он вспоминал милых, родных людей, с которыми он жил всю жизнь и работал в дивном единении радости и горя, – и они казались чужими, и жизнь их непонятной, и работа их бессмысленной. Точно вдруг взял кто-то его душу мощными руками и переломил ее, как палку о жесткое колено, и далеко разбросил концы. Только несколько часов он здесь, только несколько часов он оттуда, – а кажется, будто всю жизнь он здесь, против этой полуголой женщины, слушает далекую музыку и

треньканье шпор и не уходил никуда. И не знает, вверху он или внизу, – знает только, что он против, мучительно против всего того, что только что, еще сегодня днем, составляло его жизнь и его душу. Стыдно быть хорошим.

Вспомнил книги, по которым учился жить, и улыбнулся горько. Книги! Вот она книга – сидит с голыми руками, с закрытыми глазами, с выражением блаженства на бледном, измученном лице и ждет терпеливо. Стыдно быть хорошим… И вдруг с тоскою, с ужасом, с невыносимой болью он почувствовал, что та жизнь кончена для него навсегда, – что уже не может он быть хорошим. Только этим и жив, что хороший, только этому и радовался, только это и противоставлял и жизни и смерти, – и этого нет, и нет ничего. Тьма. И останется ли он здесь, и вернется ли он назад, к своим – у него уже нет своих. Зачем пришел он в этот проклятый дом! Остался бы лучше на улице, отдался бы в руки сыщикам, пошел бы в тюрьму – что такое тюрьма, в которой еще можно, еще не стыдно быть хорошим! А теперь – и в тюрьму поздно.

– Ты плачешь? – спросила девушка беспокойно.

– Нет! – ответил он резко. – Я никогда не плачу.

– И не надо, миленький. Это мы, женщины, можем плакать, а вам нельзя. Если и вы заплачете, кто же тогда ответит Богу?

Да, своя; вот эта – своя.

– Люба, – воскликнул он с тоскою, – что же делать! Что же делать!

– Оставайся со мною. Со мною оставайся – ты ведь мой теперь.

– А они?

Девушка нахмурилась:

– Какие еще они?

– Да люди, люди же! – воскликнул он в бешенстве. – Люди, для которых работал! Ведь не для себя же в самом деле, не для собственного утешения нес я все это – к убийству готовился!

– Ты мне о людях не говори! – строго сказала девушка, и губы ее задрожали. – Ты мне лучше о людях не говори – опять драться буду! Слышишь!

– Да что ты? – удивился он.

– Что я – собака? И все мы – собаки? Миленький, поостерегись! Попрятался за людей, и будет. Не прячься от правды, миленький, от нее никуда не спрячешься! А если любишь людей, жалеешь нашу горькую братию – так вот, бери меня. А я, миленький мой, – тебя возьму!

V

Сидела, заломив руки, вся в блаженной истоме, вся счастливая безумно – будто помешанная. Покачивала головою и, не открывая блаженно грезящих глаз, говорила медленно, почти пела:

– Миленький мой! Пить с тобою будем. Плакать с тобою будем, – ох, как сладко плакать будем, миленький ты мой. За всю жизнь наплачусь! Остался со мною, не ушел. Как увидела тебя сегодня в зеркале, так сразу и метнулося: вот он, мой суженый, вот он, мой миленький. И не знаю я, кто ты, брат ли ты мой, или жених, а весь родной, весь близкий, весь желанненький…

Вспомнил и он эту черную, немую траурную пару в золотой раме зеркала и свое тогдашнее ощущение: как на похоронах, – и вдруг стало так невыносимо больно, таким диким кошмаром показалось все, что он в тоске даже скрипнул зубами. И, идя мыслью дальше, назад, вспомнил милый револьвер в кармане – двухдневную погоню – плоскую дверь без ручки, и как он искал звонка, и как вышел опухший лакей, еще не успевший натянуть фрака, в одной ситцевой грязной рубашке, и как он вошел с хозяйкой в белый зал и увидел этих трех чужих.

И все свободнее ему становилось – и наконец ясно стало, что он такой же, как и был, и совершенно свободен, совершенно свободен и может идти куда хочет.

Он строго обвел глазами незнакомую комнату и сурово, с убежденностью человека, который очнулся на миг от тяжелого хмеля и видит себя в чуждой обстановке, осудил все увиденное:

– Что это! Какая бессмыслица! Какой нелепый сон!

Но музыка играла. Но женщина сидела, заломив руки, смеялась, бессильная говорить, изнемогающая под бременем безумного, невиданного счастья. Но это не был сон.

– Что же это? Так это – правда?

– Правда, миленький! Неразлучные мы с тобою. Это – правда. Правда – вот эти плоские мятые юбки, висящие на стене в своем голом безобразии. Правда – вот эта кровать, на которой тысячи пьяных мужчин бились в корчах гнусного сладострастья. Правда – вот эта душистая, старая, влажная вонь, которая липнет к лицу и от которой противно жить. Правда – эта музыка и шпоры. Правда – она, эта женщина с бледным, измученным лицом и жалко-счастливою улыбкой.

Опять он положил на руки тяжелую голову, смотрел исподлобья взглядом волка, которого не то убивают,

не то он сам хочет убить, и думал бессвязно: «Так вот она, правда… Это значит: и завтра и послезавтра не пойду, и все узнают, почему я не пошел, остался с девкою, запил, и назовут меня предателем, трусом, негодяем. Некоторые заступятся, будут догадываться… нет, лучше не надеяться на это, лучше так. Кончено так кончено. В темноту так в темноту. А что дальше? Не знаю, темно. Вероятно, ужас какой-нибудь, – ведь я еще не умею по-ихнему. Как странно: нужно учиться быть плохим. У кого же? У нее?.. Нет, она не годится, она сама ничего не знает, ну да я сумею. Плохим нужно быть по-настоящему, так, чтобы… Ох, что-то большое я разрушу!.. А потом? А потом, когда-нибудь, приду к ней, или в кабак, или на каторгу, и скажу: теперь мне не стыдно, теперь я ни в чем не виноват перед вами, теперь я сам такой же, как вы, грязный, падший, несчастный. Или выйду на площадь, падший, и скажу: смотрите, какой я! Все у меня было: и ум, и честь, и достоинство, и даже – страшно подумать – бессмертие; и все это я бросил под ноги проститутке, от всего отказался только потому, что она плохая… Что они скажут? Разинут рты, удивятся, скажут – «дурак»! Конечно, дурак. Разве я виноват, что я хороший? Пусть и она, пусть и все стараются быть хорошими… Раздай имение неимущим. Но ведь это имение и это Христос, в которого я не верю. Или еще: кто душу свою поло-

жит – не жизнь, а душу – вот как я хочу. Но разве сам Христос грешил с грешниками, прелюбодействовал, пьянствовал? Нет, Он только прощал их, любил даже. Ну, и я ее люблю, прощаю, жалею, – зачем же самому? Да, но ведь она в церковь не ходит. И я тоже. Это не Христос, это другое, это страшнее».

– Страшно, Люба!

– Страшно, миленький. Страшно человеку встретиться с правдой.

«Она опять о правде. Но отчего страшно? Чего я боюсь? Чего я могу бояться – когда я так хочу? Конечно, бояться нечего. Разве там, на площади, перед этими разинутыми ртами, я не буду выше их всех? Голый, грязный, оборванный – у меня тогда будет ужасное лицо – сам отдавший все – разве я не буду грозным глашатаем вечной справедливости, которой должен подчиниться и сам Бог – иначе он не Бог!»

– Нет страшного, Люба!

– Нет, миленький, есть. Не боишься, и хорошо, но его не зови. Не надо.

«Так вот как я кончил. Не этого я ожидал. Не этого я ожидал для моей молодой, красивой жизни. Боже мой, но ведь это безумие, я с ума сошел! Еще не поздно! Еще не поздно. Еще можно уйти!»

– Миленький ты мой! – бормотала женщина, заломив руки.

Он хмуро взглянул на нее. В блаженно закрытых глазах ее, в блуждающей, счастливой, бессмысленной улыбке была неутолимая жажда, ненасытимый голод. Точно уже сожрала она что-то огромное и сожрет еще. Взглянул хмуро на тонкие, нежные руки, на темные впадины в подмышках и неторопливо встал. И с последним усилием спасти что-то драгоценное – жизнь или рассудок, или старую добрую правду – неторопливо и серьезно начал одеваться. Не может найти галстука.

– Послушай, ты не видала моего галстука?

– Ты куда? – оглянулась женщина. Руки ее упали с головы, и вся она потянулась вперед, к нему.

– Ухожу.

– Уходишь? – протяжно повторила она. – Уходишь? Куда?

Он усмехнулся угрюмо:

– Разве мне некуда идти? К товарищам иду.

– К хорошим? Ты обманул меня?

– Да, к хорошим, – опять усмехнулся.

Наконец он оделся; провел ладонями по бокам:

– Давай бумажник.

Подала.

– А часы?

Подала. Они лежали тут же, на столике.

– Прощай.

– Испугался?

Вопрос был спокойный, простой. Он взглянул: стояла высокая, стройная женщина, с тонкими, почти детскими руками, улыбалась бледно, побелевшими губами и спрашивала:

– Испугался?

Как она менялась странно: то сильная, даже страшная, то вот как теперь, печальная, и больше на девушку похожа, чем на женщину. Но это ведь все равно. Сделал шаг к двери.

– А я думала, что ты останешься.

– Что?

– А я думала, что останешься. Со мною.

– Зачем?

– Ключ у тебя, в кармане. Да так: чтобы мне лучше было.

Уже щелкнул замок.

– Ну что же. Ступай. Ступай к своим хорошим, а я…

…И вот тогда, в эту последнюю минуту, когда оставалось открыть дверь и за нею вновь найти товарищей, прекрасную жизнь и героическую смерть, – он совершил дикий непонятный поступок, погубивший его жизнь. Было ли то безумие, которое овладевает иногда так внезапно самыми сильными и спокойными умами, или действительно – под визг пьяной скрипки, в стенах публичного дома, под дикими чарами под-

веденных глаз проститутки – он открыл какую-то последнюю ужасную правду жизни, свою правду, которой не могли и не могут понять другие люди. Но было ли безумием или здоровьем ума, было ли ложью или правдой новое понимание его, – он принял его твердо и бесповоротно, с тою безусловностью факта, которая всю прежнюю жизнь его вытянула в одну прямую огненную линию, оперила ее, как стрелу.

Провел медленно, очень медленно руками по щетинистому твердому черепу и, даже не закрыв двери, – просто пошел и сел на кровати. Широкоскулый, бледный, похожий с виду на иностранца, на англичанина.

– Что ты? Забыл что-нибудь? – удивилась женщина: так теперь не ожидала она того, что случилось.

– Нет.

– Что же ты? Почему ты не уходишь?

И спокойно, с выражением камня, на котором жизнь тяжелой рукою своею высекла новую страшную, последнюю заповедь, он сказал:

– Я не хочу быть хорошим.

Она ждала, не смея верить, – вдруг ужаснувшаяся тому, чего искала и жаждала так долго. Стала на колени. И, слегка улыбнувшись, уже по-новому, по-страшному возвышаясь над ней, он положил руку ей на голову и повторил:

– Я не хочу быть хорошим.

И радостно засуетилась женщина. Она раздевала его как ребенка, расшнуровывала ботинки, путаясь в узлах, гладила его по голове, по коленам, и не смеялась даже – так полно было ее сердце. Вдруг взглянула на его лицо и испугалась:

– Какой ты бледный! Пей, пей скорее. Тебе трудно, Петечка?

– Меня зовут Алексей.

– Все равно. Хочешь, я налью тебе в стакан? Только смотри, не обожгись, с непривычки трудно из стакана.

И, раскрыв рот, смотрела, пока он пил медленными, слегка неуверенными глотками. Закашлялся.

– Это ничего, ничего. Ты хорошо будешь пить, это сразу видно. Молодец же ты у меня! До чего же я рада!

Завизжав, она вспрыгнула на него и стала душить короткими, крепкими поцелуями, на которые он не успевал отвечать. Смешно: чужая, а так целует! Крепко сжал ее руками, вдруг лишив ее возможности двигаться, и некоторое время молча, сам не двигаясь, держал так, точно испытывал силу покоя, силу женщины – силу свою. И женщина покорно и радостно немела в его руках.

– Ну, ладно! – сказал он и вздохнул незаметно.

И вновь металась женщина, горя в дикой радости своей, как в огне. И так наполнила своими движениями комнатку, как будто не одна, а несколько таких по-

лубезумных женщин говорило, двигалось, ходило, целовало. Поила его коньяком и пила сама. Вдруг спохватилась и даже всплеснула руками.

– А револьвер! А револьвер-то мы и забыли! Давай, давай скорее, нужно его отнести в контору.

– Зачем?

– Ну его, боюсь я этих вещей. А вдруг выстрелит?

Он усмехнулся и повторил:

– А вдруг выстрелит? Да. А вдруг выстрелит!

Вынул револьвер и несколько медленно, точно меряя рукою тяжесть спокойного, послушного оружия, передал его девушке. Достал и обоймы.

– Неси.

И когда остался один, без револьвера, который носил столько лет, с полуоткрытой дверью, в которую неслись издали чужие, незнакомые голоса и тихое позвякивание шпор, – почувствовал он всю громаду бремени, которое взвалил на плечи свои. Тихо прошелся по комнате и, обратясь лицом в сторону, где должны были находиться те, произнес:

– Ну?

И застыл, сложив руки на груди, обратив глаза в сторону, где должны были находиться те. И было в этом коротеньком слове много: и последнее прощание, и глухой вызов, и бесповоротная, злая решимость бороться со всеми, даже со своими, и немного,

совсем немного тихой жалобы.

Все так же стоял он, когда прибежала Люба и с порога взволнованно заговорила:

– Миленький, ты не рассердишься? Не сердись, я подруг сюда позвала. Так, некоторых. Ничего? Понимаешь: очень мне захотелось им тебя показать, суженого моего, миленького моего. Ничего? Они славные, их нынче никто не взял, и они одни там. А офицеры по комнатам разошлись. А один офицерик видел твой револьвер и похвалил: очень хороший, говорит. Ничего? Миленький, ничего? – душила его девушка короткими, быстрыми, крепкими поцелуями.

А те уже входили, повизгивая, жеманясь, и чинно садились рядом, одна возле другой. Их было пять или шесть самых некрасивых или старых, накрашенных, с подведенными глазами, с волосами, навесом начесанными на лоб.

Некоторые делали вид, что стыдятся, и хихикали, другие спокойно и просто ожидали коньяку и глядели на него серьезно, протягивали руку и здоровались, входя. По-видимому, они уже ложились спать, потому что все были в легких капотах, а одна, чрезвычайно толстая, ленивая и равнодушная, пришла даже в одной юбке, с голыми, невероятно толстыми руками и жирною, словно распухшею грудью. Эта толстая и еще одна со злым, птичьим, старым лицом, на кото-

ром белила лежали, как грязная штукатурка на стене, были совершенно пьяны, остальные же сильно навеселе. И все это полуголое, откровенное, хихикающее окружило его, и сразу нестерпимо запахло телом, портером, все теми же влажными, мыльными духами. Прибежал с коньяком и портером потный лакей в обтянутом кургузом фраке, и все девицы хором встретили его:

– Маркуша! Милай Маркуша! Маркуша!

По-видимому, это было в обычае – встречать его такими возгласами, потому что даже и толстая, пьяная, лениво прогудела:

– Маркуша!

И все это было необыкновенно. Пили, чокались, говорили все сразу и о чем-то своем. Злая, с птичьим лицом, раздраженно и крикливо рассказывала о госте, который брал ее на время и с которым у нее что-то вышло. Часто ввертывали уличные ругательства, но произносили их не равнодушно, как мужчины, а всегда с особенной едкостью, с некоторым вызовом; все вещи называли своими именами.

На него вначале обращали внимания мало, да и сам он упорно молчал и выглядывал. Счастливая Люба сидела очень тихо рядом с ним на постели, обнимая его рукою за шею, сама пила немного, но ему постоянно подливала. И часто в самое ухо шептала:

– Миленький!

Пил он много, но не хмелел, а что-то другое происходило в нем, что производит нередко в людях таинственный и сильный алкоголь. Будто – пока он пил и молчал – внутри его происходила огромная, разрушительная работа, быстрая и глухая. Как будто все, что он узнал в течение жизни, полюбил и передумал, разговоры с товарищами, книги, опасная и завлекательная работа – бесшумно сгорало, уничтожалось бесследно, но сам он от этого не разрушался, а както странно креп и твердел. Словно с каждой выпитой рюмкой он возвращался к какому-то первоначалу своему – к деду, к прадеду, к тем стихийным, первобытным бунтарям, для которых бунт был религией и религия – бунтом. Как линючая краска под горячей водой – смывалась и блекла книжная чуждая мудрость, а на место ее вставало свое собственное, дикое и темное, как голос самой черной земли. И диким простором, безграничностью дремучих лесов, безбрежностью полей веяло от этой последней темной мудрости его; в ней слышался смятенный крик колоколов, в ней виделось кровавое зарево пожаров, и звон железных кандалов, и исступленная молитва, и сатанинский хохот тысяч исполинских глоток – и черный купол неба над непокрытой головою.

Так сидел он, широкоскулый, бледный, вдруг такой

родной, такой близкий всем этим несчастным, галдевшим вкруг него. И в опустошенной, выжженной душе, и в разрушенном мире белым огнем расплавленной стали сверкала и светилась ярко одна его раскаленная воля. Еще слепая, еще бесцельная, она уже выгибалась жадно; и в чувстве безграничного могущества, способности все создать и все разрушить, спокойно железнело его тело.

Вдруг он стукнул кулаком по столу:

– Любка! Пей!

И когда она, светлая и улыбающаяся, покорно налила рюмки, он поднял свою и произнес:

– За нашу братию!

– Ты за тех? – шепнула Люба.

– Нет, за этих. За нашу братию! За подлецов, за мерзавцев, за трусов, за раздавленных жизнью. За тех, кто умирает от сифилиса…

Девицы рассмеялись, но толстая лениво попрекнула:

– Ну это, голубчик, уже слишком.

– Молчи! – сказала Люба, бледнея. – Он мой суженый!

– …За всех слепых от рождения. Зрячие! Выколем себе глаза, ибо стыдно, – он стукнул кулаком по столику. – Ибо стыдно зрячим смотреть на слепых от рождения. Если нашими фонариками не можем осветить

всю тьму, так погасим же огни и все полезем в тьму. Если нет рая для всех, то и для меня его не надо, – это уже не рай, девицы, а просто-напросто свинство. Выпьем за то, девицы, чтобы все огни погасли. Пей, темнота!

Он слегка покачнулся и выпил. Говорил он несколько туго, но твердо, отчетливо, с паузами, выговаривая каждое слово. Никто не понял этой дикой речи, но всем он понравился – понравился он сам, бледный и как-то по-особенному злой. Вдруг быстро заговорила Люба, протягивая руки:

– Он мой суженый. Он останется со мною. Он был честный, у него есть товарищи, а теперь он останется со мною.

– Поступай к нам, на место Маркуши, – лениво сказала толстая.

– Молчи, Манька, я морду тебе побью! Он останется со мною. Он был честный.

– Мы все были честные, – сказала злая, старая.

И другие подхватили:

– Я до четырех лет была честная… Я и сейчас честная, ей-богу!

Люба чуть не плакала.

– Молчите, дряни вы этакие. У вас честность отняли, а он сам отдал. Взял и отдал: на мою честность! Не хочу я честности! Вы все тут… а он еще невиннень-

кий…

Она всхлипнула – и все разразились хохотом. Хохотали, как могут хохотать только пьяные, со всею безудержностью их чувств; хохотали, как можно только хохотать в маленькой комнатке, где воздух уже насытился звуками, уже не принимает их и гулко выбрасывает назад, оглушая. Плакали от смеха, валились друг на друга, стонали; тоненьким голоском кудахтала толстая и бессильно падала со стула; наконец, глядя на них, залился хохотом он сам. Точно весь сатанинский мир собрался сюда, чтобы хохотом проводить в могилу маленькую, невинненькую честность, – и хохотала тихо сама умершая честность. Не смеялась только Люба. Дрожа от возмущения, она ломала руки, кричала что-то и наконец бросилась бить кулаками толстую, и та еле-еле бессильно отводила ее голыми, круглыми, как бревна, руками.

– Будет, – кричал он, но они не слыхали. Наконец понемногу стихли.

– Будет! – еще раз крикнул он. – Стойте. Я вам еще штучку покажу.

– Оставь их! – говорила Люба, вытирая кулаком слезы. – Их всех надо выгнать!

– Испугалась? – повернул он лицо, еще дрожащее от хохота. – Честности захотелось? Глупая, – тебе все время только ее и хочется! Оставь меня!

И, не обращая больше на нее внимания, он обернулся к тем, встал, высоко поднял руки:

– Слушайте. Погодите. Я сейчас вам покажу. Смотрите сюда, на мои руки.

И, настроенные весело и любопытно, они смотрели на его руки и послушно, как дети, ждали, разинув рты.

– Вот, – он потряс руками, – я держу в руках мою жизнь. Видите?

– Видим! Дальше!

– Она была прекрасна, моя жизнь. Она была чиста и прелестна, моя жизнь. Она была, знаете, как те красивые вазы из фарфора. И вот глядите: я бросаю ее!

Он опустил руки почти со стоном, и все глаза обратились на землю, как будто там действительно лежало что-то хрупкое и нежное, разбитое на куски – прекрасная человеческая жизнь.

– Топчите же ее, девки! Топчите, чтобы кусочка не осталось! – топнул он ногой.

И, как дети, которые радуются новой шалости, они все с визгом и хохотом вскочили и начали топтать то место, где невидимо лежала разбитая нежная фарфоровая ваза – прекрасная человеческая жизнь. И постепенно овладела ими ярость. Смолк хохот и визг. Только тяжелое дыхание, густой сап и топот ног, яростный, беспощадный, неукротимый.

Как оскорбленная царица, через плечо, глядела на

него Люба яростными глазами и вдруг, точно поняв, точно обезумев, – с радостным стоном бросилась в середину толкущихся женщин и быстро затопала ногами. Если бы не серьезность пьяных лиц, если бы не яростность потускневших глаз, не злоба искаженных, искривленных ртов, можно было бы подумать, что это новый, особенный танец без музыки и без ритма.

И сцепив пальцами твердый, щетинистый череп – спокойно и угрюмо смотрел он.

Говорили в темноте два голоса.

Голос Любы, близкий, внимательный, чуткий, с легкими нотками особенного страха, каким бывает всегда голос женщины в темноте, – и его, твердый, спокойный, далекий. Слова он выговаривал слишком твердо, слишком отчетливо – и только в этом чувствовался еще не совсем прошедший хмель.

– У тебя глаза открыты? – спрашивала женщина.

– Открыты.

– Ты думаешь о чем-нибудь?

– Думаю.

Молчание и темнота, и снова внимательный, сторожкий женский голос:

– Расскажи мне еще о твоих товарищах. Ты можешь?

– Отчего же? Они были…

Он говорил «были», – как живые говорят о мертвых, или как мертвый мог бы говорить о живом. И рассказывал спокойно, почти равнодушно, с похоронными отзвуками меди в ровно текущем голосе, как старик, который рассказывает детям героическую сказку о давно минувших годах. И в темноте беспредельно раздвинувшей границы комнаты, вставала перед зачарованными глазами Любы крохотная горсточка людей, страшно молодых, лишенных матери и отца, безнадежно враждебных и тому миру, с которым борются, и тому – за который борются они. Ушедшие мечтою в далекое будущее, к людям-братьям, которые еще не родились, свою короткую жизнь они проходят бледными, окровавленными тенями, призраками, которыми люди пугают друг друга. И безумно коротка их жизнь: каждого из них ждет виселица, или каторга, или сумасшествие; больше нечего ждать, – каторга, виселица, сумасшествие. И есть среди них женщины…

Люба охнула и приподнялась на локтях:

– Женщины! Что ты говоришь, миленький!

– Молоденькие, нежные девушки, почти подростки, – мужественно и смело идут они по стопам мужчин и гибнут…

– Гибнут. Господи!

Люба всхлипнула и прижалась к его плечу.

– Что, растрогалась?

– Ничего, миленький, я так. Рассказывай! Рассказывай!

И он рассказывал дальше. И удивительное дело: лед превращался в огонь, в похоронных отзвуках его прощальной речи для девушки с открытыми горящими глазами вдруг зазвучал благовест новой, радостной, могучей жизни. Слезы быстро накипали на ее глазах и сохли, словно на огне; взволнованная мятежно, она жадно слушала, и каждое тяжелое слово, как молот по горячему железу, ковало в ней новую звонкую душу. Равномерно опускался молот, и все звончее становилась душа, – и вдруг в душном смраде комнаты громко прозвучал новый, незнакомый голос – голос человека:

– Милый! Ведь я тоже женщина!

– Чего же ты хочешь?

– Ведь я тоже могу пойти к ним!

Он молчал. И вдруг в молчании своем, в том, что он был их товарищем, жил вместе с ними – показался ей таким особенным и важным, что даже неловко стало лежать с ним, так просто, рядом и обнимать его. Отодвинулась немного и руку положила легко, так, чтобы прикосновение чувствовалось как можно меньше. И, забывая свою ненависть к хорошим, все слезы свои и проклятия, долгие годы ненарушимого одиночества в вертепе, покоренная красотою и самоотречением их-

ней жизни – взволновалась до краски в лице, почти до слез, от страшной мысли, что те могут ее не принять.

– Милый! А они примут меня? Господи, что это такое? Как ты думаешь, как ты думаешь, они примут меня, они не побрезгуют? Они не скажут: тебе нельзя, ты грязная, ты собою торговала? Ну, скажи!

Молчание и ответ, несущий радость:

– Примут. Очего же?

– Миленький ты мой! Какие же они…

– Хорошие, – добавил мужской голос, словно поставил тупую, круглую точку.

И радостно, с трогательным доверием девушка повторила:

– Да. Хорошие.

И так светла была ее улыбка, что, казалось, улыбнулась сама темнота, и какие-то звездочки забегали – голубенькие, маленькие точечки. Приходила к женщине новая правда, но не страх, а радость несла с собою.

И робкий просящий голос:

– Так пойдем к ним, милый! Ты отведешь меня, не постыдишься, что привел такую? Ведь они поймут, как ты сюда попал. На самом деле – за человеком гонятся, куда ему деваться. Тут не только что, – тут в помойную яму полезешь. И я… и я… я уже постараюсь. Что же ты молчишь?

Угрюмое молчание, в котором слышно биение двух сердец – одно частое, торопливое, тревожное – и твердые, редкие, странно редкие удары другого.

– Тебе стыдно привести такую?

Угрюмое, длительное молчание и ответ, от которого повеяло холодом и непреклонностью жесткого камня:

– Я не пойду. Я не хочу быть хорошим.

Молчание.

– Они господа, – как-то странно и одиноко прозвучал его голос.

– Кто? – глухо спросила девушка.

– Те, прежние.

И опять длительное молчание – точно откуда-то сверху сорвалась птица и падает, бесшумно крутясь в воздухе мягкими крыльями, и никак не может достичь земли, чтобы разбиться о нее и лечь спокойно. В темноте он почувствовал, как Люба молча и осторожно, стараясь как можно меньше касаться, перебралась через него и стала возиться с чем-то.

– Ты что?

– Я не хочу лежать так. Хочу одеться.

Должно быть, оделась и села, потому что легонько скрипнул стул. И стало так тихо, как будто в комнате не было никого. И долго было тихо; и спокойный, серьезный голос сказал:

– Там, Люба, на столе остался, кажется, еще коньяк.

Выпей рюмочку и ложись.

VI

Уже совсем рассветало, и в доме было тихо, как во всяком доме, – когда явилась полиция. После долгих сомнений и колебаний, боязни скандала и ответственности, – в полицейский участок был послан Маркуша с подробным и точным докладом о странном посетителе и даже с его револьвером и запасными обоймами. И там сразу догадались, кто это. Уже три дня полиция бредила им и чувствовала его тут, возле; и последние следы его терялись как раз в – ном переулке. Даже предположен был на одно время обход всех публичных домов в участке, но кто-то отыскал новый ложный путь, и туда направились поиски, и про дом забыли.

Затрещал тревожно телефон, и уже через полчаса в октябрьском холодке, сдирая подошвами иней, по пустым улицам двигалась молча огромная толпа городовых и сыщиков. Впереди, всем телом чувствуя свою зловещую выброшенность вперед, шел участковый пристав, очень высокий пожилой человек в широком, как мешок, форменном пальто. Он зевал, закрывая красноватый, отвислый нос в седеющих усах, и думал с холодной тоскою, что надо было подождать солдат, что бессмысленно идти на такого человека без солдат, с одними сонными, неуклюжими городо-

выми, не умеющими стрелять. И уже несколько раз мысленно назвал себя «жертвою долга» и каждый раз при этом продолжительно и тяжело зевал.

Это был всегда слегка пьяный старый пристав, развращенный публичными домами, которые находились в его участке и платили ему большие деньги за свое существование; и умирать ему вовсе не хотелось. Когда его подняли нынче с постели, он долго перекладывал свой револьвер из одной потной ладони в другую и, хотя времени было мало, зачем-то велел почистить сюртук, точно собирался на смотр. Еще накануне в участке, среди своих, вели разговор о нем, о котором бредила эти дни вся полиция, и пристав с цинизмом старого, пьяного своего человека называл его героем, а себя старой полицейской шлюхою. И когда помощники хохотали, серьезно уверял, что такие герои нужны хотя бы для того, чтобы их вешать:

– Вешаешь – и ему приятно, и тебе приятно. Ему потому, что идет прямо в царствие небесное, а мне как удостоверение, что есть еще храбрые люди, не перевелись. Чего зубы скалите, – верно-с!

Правда, он и сам смеялся при этом, так как давно позабыл, где в его словах правда, а где ложь, то, что табачным дымом обволакивало всю его беспутную, пьяную жизнь. Но сегодня – в октябрьском утре, идя по холодным улицам, – он ясно почувствовал, что

вчерашнее – ложь и что «он» просто негодяй; и было стыдно вчерашних мальчишеских слов.

– Герой! Как же! Господи, да если он, – изнывал пристав в молитве, – да если он, мерзавец, пошевельнется, убью как собаку. Господи!

И опять думал, отчего ему, приставу, уже старому, уже подагрику, так хочется жить? И вдруг догадался: это оттого, что на улицах иней. Обернулся назад и свирепо крикнул:

– В ногу! Идут, как бараны… с… с…

А под пальто поддувало, а сюртук был широк, и все тело болталось в одежде, как желток в болтне, – точно вдруг сразу похудел он. Ладони же рук, несмотря на холод, были потные.

Дом окружили так, будто не одного спящего человека собирались взять, а сидела там целая рота неприятелей; и потихоньку, на цыпочках, пробрались по темному коридору к той страшной двери. Был отчаянный стук, крик, трусливые угрозы застрелить сквозь дверь; и когда, почти сбивая с ног полуголую Любу, ворвались дружной лавой в маленькую комнату и наполнили ее сапогами, шинелями, ружьями, то увидели: он сидел на кровати в одной рубашке, спустив на пол голые, волосатые ноги, сидел и молчал. И не было ни бомбы, ни другого страшного. Была только обыкновенная комната проститутки, грязная и противная

при утреннем свете, смятая широкая кровать, разбросанное платье, загаженный и залитый портером стол; и на кровати сидел бритый, скуластый мужчина с заспанным, припухшим лицом и волосатыми ногами и молчал.

– Руки вверх! – крикнул из-за спины пристав и крепче зажал в потной ладони револьвер. Но он рук не поднял и не ответил.

– Обыскать! – крикнул пристав.

– Да ничего же нету! Да я же револьвер отнесла! Господи! – кричала Люба, ляская от страха зубами.

И она была в одной только смятой рубашке, и среди одетых в шинели людей оба они, полуголый мужчина и такая же женщина, вызывали стыд, отвращение, брезгливую жалость. Обыскали его одежду, обшарили кровать, заглянули в углы, в комод и не нашли ничего.

– Да я же револьвер отнесла! – твердила бессмысленно Люба.

– Молчать, Любка! – крикнул пристав.

Он хорошо знал девушку, раза два или три ночевал с нею и теперь верил ей; но так неожиданен был этот счастливый исход, что хотелось от радости кричать, распоряжаться, показывать власть.

– Как фамилия?

– Не скажу. И вообще на вопросы отвечать не буду.

– Конечно-с, конечно! – иронически ответил при-

став, но несколько оробел.

Потом взглянул на его голые, волосатые ноги, на всю эту мерзость – на девушку, дрожавшую в углу, и вдруг усомнился.

– Да тот ли это? – отвел он сыщика в сторону. – Что-то как будто?..

Сыщик, пристально вглядывавшийся в его лицо, утвердительно мотнул головой.

– Тот. Бороду только сбрил. По скулам узнать можно.

– Скулы разбойничьи, это верно…

– Да и на глаза гляньте. Я его по глазам из тысячи узнаю.

– Глаза, да… Покажи-ка карточку.

Он долго разглядывал матовую без ретуши карточку того, – и был он на ней очень красивый, как-то особенно чистый молодой человек с большой русской окладистой бородою. Взгляд был, пожалуй, тот же, но не угрюмый, а очень спокойный и ясный. Скул только не было заметно.

– Видишь: скул не видать.

– Да под бородою же. А ежели прощупать глазом…

– Так-то оно так, но только… Запой, что ли, у него бывает?

Высокий, худой сыщик с желтым лицом и реденькой бородкой, сам запойный пьяница, покровительствен-

но улыбнулся:

– У них запоя не бывает-с.

– Сам знаю, что не бывает. Но только… Послушайте, – подошел пристав, – это вы участвовали в убийстве?.. – Он назвал почтительно очень важную и известную фамилию.

Но тот молчал и улыбался. И слегка покачивал одной волосатой ногой с кривыми, испорченными обувью пальцами.

– Вас спрашивают!..

– Да оставьте. Он не будет же отвечать. Подождем ротмистра и прокурора. Те заставят разговориться!

Пристав засмеялся, но на душе у него становилось почему-то все хуже и хуже. Когда лазили под кровать, разлили что-то, и теперь в непроветренной комнатке очень дурно пахло. «Мерзость какая! – подумал пристав, хотя в отношении чистоты был человек нетребовательный, и с отвращением взглянул на голую качающуюся ногу. – Еще ногой качает!» Обернулся: молодой, белобрысый, с совсем белыми ресницами городовой глядел на Любу и ухмылялся, держа ружье обеими руками, как ночной сторож в деревне палку.

– Эй, Любка! – крикнул пристав. – Ты что же это, сучья дочь, сразу не донесла, кто у тебя?

– Да я же…

Пристав ловко дважды ударил ее по щеке, по од-

ной, по другой.

– Вот тебе! Вот тебе! Я вам тут покажу!

У того поднялись брови и перестала качаться нога.

– Вам не нравится это, молодой человек? – Пристав все более и более презирал его. – Что же поделаешь! Вы эту харю целовали, а мы на этой харе…

И засмеялся, и улыбнулись конфузливо городовые. И что было всего удивительнее: засмеялась сама побитая Люба. Глядела приятно на старого пристава, точно радуясь его шутливости, его веселому характеру, и смеялась. На него, с тех пор как пришла полиция, она ни разу не взглянула, предавая его наивно и откровенно; и он видел это, и молчал, и улыбался странной усмешкой, похожей на то, как если бы улыбнулся в лесу серый, вросший в землю заплесневший камень. А у дверей уже толпились полуодетые женщины: были среди них и те, что сидели вчера с ними. Но смотрели они равнодушно, с тупым любопытством, как будто в первый раз встречали его; и видно было, что из вчерашнего они ничего не запомнили. Скоро их прогнали.

Рассвело совсем, и в комнате стало еще отвратительнее и гаже. Показались два офицера, невыспавшиеся, с помятыми физиономиями, но уже одетые, чистые, и вошли в комнату.

– Нельзя, господа, ей-богу, нельзя, – лениво гово-

рил пристав и злобно смотрел на него.

Подходили, осматривали его с головы до голых ног с кривыми пальцами, оглядывали Любу и, не стесняясь, обменивались замечаниями.

– Однако хорош! – сказал молоденький офицерик, тот, что сзывал всех на котильон. У него действительно были прекрасные белые зубы, пушистые усы и нежные глаза с большими девичьими ресницами. На арестованного офицерик смотрел с брезгливой жалостью и морщился так, будто сейчас готов был заплакать. На левом мизинце у того была мозоль, и было почему-то отвратительно и страшно смотреть на этот желтоватый маленький бугорок. И ноги были грязноваты. – Как же это вы, сударь, ай-ай-ай! – качал головой офицер и мучительно морщился.

– Так-то-с, господин анархист. Не хуже нас грешных с девочками. Плоть-то и у вас, стало быть, немощна? – засмеялся другой, постарше.

– Зачем вы револьвер свой отдали? Вы бы могли хоть стрелять. Ну, я понимаю, ну, вы попали сюда, это может быть со всяким, но зачем же вы отдали револьвер? Ведь это нехорошо перед товарищами! – горячо говорил молоденький и объяснял старшему офицеру: – Знаете, Кнорре, у него был браунинг с тремя обоймами, представьте! Ах, как это нелепо.

И, улыбаясь насмешливо, с высоты своей новой,

неведомой миру и страшной правды, глядел он на молоденького, взволнованного офицерика и равнодушно покачивал ногою. И то, что он был почти голый, и то, что у него волосатые, грязноватые ноги с испорченными кривыми пальцами – не стыдило его. И если бы таким же вывести его на самую людную площадь в городе и посадить перед глазами женщин, мужчин и детей, он так же равнодушно покачивал бы волосатой ногой и улыбался насмешливо.

– Да разве они понимают, что такое товарищество! – сказал пристав, свирепо косясь на качающуюся ногу, и лениво убеждал офицеров: – Нельзя разговаривать, господа, ей-богу, нельзя. Сами знаете, инструкции.

Но свободно входили новые офицеры, осматривали, переговаривались. Один, очевидно знакомый, поздоровался с приставом за руку. И Люба уже кокетничала с офицерами.

– Представьте, браунинг, три обоймы, и он, дурак, сам его отдал, – рассказывал молоденький. – Не понимаю!

– Ты, Миша, никогда этого не поймешь.

– Да ведь не трусы же они!

– Ты, Миша, идеалист, у тебя еще молоко на губах не обсохло.

– Самсон и Далила! – сказал иронически невы-

сокий, гнусавый офицер с маленьким полупровалившимся носиком и высоко зачесанными редкими усами.

– Не Далила, а просто она его удавила.

Засмеялись.

Пристав, улыбавшийся приятно и потиравший книзу свой красноватый, отвислый нос, вдруг подошел к нему, стал так, чтобы загородить его от офицеров своим туловищем в широком свисавшем сюртуке, – и заговорил сдушенным шепотом, бешено ворочая глазами:

– Стыдно-с!.. Штаны бы надели-с!.. Офицеры-с!.. Стыдно-с… Герой тоже… С девкою связался, со стервой… Что товарищи твои скажут, а?.. У-х, ска-а-тина…

Напряженно вытянув голую шею, слушала его Люба. И так стояли они друг возле друга – три правды, три разные правды жизни: старый взяточник и пьяница, жаждавший героев, распутная женщина, в душу которой были уже заброшены семена подвига и самоотречения, – и он. После слов пристава он несколько побледнел и даже как будто хотел что-то сказать, но вместо того улыбнулся и вновь спокойно закачал волосатой ногой.

Разошлись понемногу офицеры, городовые привыкли к обстановке, к двум полуголым людям, и стояли сонно, с тем отсутствием видимой мысли, какая

делает похожими лица всех сторожей. И, положив руки на стол, задумался пристав глубоко и печально о том, что заснуть сегодня уже не придется, что надо идти в участок и принимать дела. И еще о чем-то, еще более печальном и скучном.

– Можно мне одеться? – спросила Люба.

– Нет.

– Мне холодно.

– Ничего, посидишь и так.

Пристав не глядел на нее. И, перегнувшись, вытянув тонкую шею, она что-то шепнула тому, нежно, одними губами. Он поднял вопросительно брови, и она повторила:

– Миленький! Миленький мой!..

Он кивнул головою и улыбнулся ласково. И то, что он улыбнулся ей ласково и, значит, ничего не забыл; и то, что он, такой гордый и хороший, был раздет и всеми презираем, и его грязные ноги – вдруг наполнили ее чувством нестерпимой любви и бешеного, слепого гнева. Взвизгнув, она бросилась на колени, на мокрый пол, и схватила руками холодные волосатые ноги.

– Оденься, миленький! – крикнула она исступленно. – Оденься!

– Любка, оставь! – оттаскивал ее пристав. – Не стоит он этого!

Девушка вскочила на ноги.

– Молчи, старый подлец! Он лучше вас всех!

– Он скотина!

– Это ты скотина!

– Что? – вдруг рассвирепел пристав. – Эй, Федосеенко, возьми ее. Да ружье-то поставь, болван!

– Миленький! да зачем же ты револьвер отдал! – вопила девушка, отбиваясь от городового. – Да зачем же ты бомбу не принес… Мы бы их… мы бы их… всех…

– Рот ей зажми!

Задыхаясь, уже молча, боролась отчаянно женщина и старалась укусить хватавшие ее жесткие пальцы. И растерянно, не зная, как бороться с женщинами, хватая ее то за волосы, то за обнажившуюся грудь, валил ее на пол белобрысый городовой и отчаянно сопел. А в коридоре уже слышались многочисленные громкие, развязные голоса и звенели шпоры жандарма. И что-то говорил сладкий, задушевный, поющий баритон, точно приближался это оперный певец, точно теперь только начиналась серьезная, настоящая опера.

Пристав оправил сюртук.

1907